

Поэтика дороги

Дорога всегда служила шампуром, на который романист насаживал приключения. Но раньше герой редко осматривался по сторонам. Дон Кихот и три мушкетера настолько поглощены собой, что им некогда обсуждать достопримечательности. Сегодня проза далеко от них не отходит. Пристальное внимание к окружающему — знак снисходительного времени, позволяющего разглядеть окрестности. И в этом — смертельный риск для автора. Путевая проза опасно близко подходит к идиллии. Ей тоже не хватает конфликта, приводящего в движение литературу. Лишенная средств внутреннего передвижения, она заменяет его механи-

ческим перемещением — из точки А в точку Б. На этом маршруте усыпленный монотонной ездой автор вываливается из изящной словесности в какую придется. Нет ничего скучнее честных дорожных записок, где взятые напрокат знания соединяются с маршрутом отпуска.

Путевая проза — испытание писателя на искренность: она требует не столько искусного, сколько трепетного обращения с фактами. В эпоху заменившего эрудицию интернета именно в этом жанре литература ставит эксперимент, выясняя, чем мы отличаемся от компьютера. Ничем, если автор — акын с Википедией. Ученый плагиатор списывает с путеводителя, наивный — с действительности. Плохо и то и другое. Украденный факт не может быть сокровенным переживанием, а реальности нет вовсе.

Пишущий странник напоминает мясорубку: входит одно, выходит другое, малопохожее. С одной стороны, например, архитектура, с другой — стихи. Но что же делает литературу путевой? Повод. Не впечатлениями дарит нас дорога, а состоянием. Путешествие — опыт самопознания, физическое перемещение с духовными последствиями. Встроив себя в пейзаж, автор его навсегда меняет.

К счастью, путешествие — чувственное наслаждение, которое, в отличие от секса, поддается описанию, но, как и он, — не симуляции.

Обращая рутину в экзотику, чужие, а значит, остранные, будни пьянят и тревожат. Как рапира, путешествие действует избирательно: оно меняет не всё, а каждого, позволяя жить в ином регистре — будто по новой. Путнику, словно младенцу, не угрожает банальность, ибо мир и к нему обращается на еще незнакомом языке. Чужая речь, иероглифы вывесок, архитектура, климат, диктатура.

В дороге мы ищем незнакомого, и, если вычитанное мешает настоящему, надо забыть все, что мы знали (но сперва все-таки узнать). Удавшееся путешествие — сенсорный сбой от столкновения умозрительного с очевидным. Сколько бы мы ни готовились к встрече, она должна на нас обрушиться, сметая фильтры штампов. И тогда окажется, что даже Эйфелева башня не имеет ничего общего с тем, чего мы от нее ждали. Старомодная, но не старая, она не может устареть, как ажурный чулок.

Писать о путешествиях трудно, как обо всем, что смешивает плоть с духом в той же неопределенной пропорции, что боль, спорт и неплатонические связи. Выход — в откровен-

ности, без которой невозможна любая интимность, но прежде всего — поэтическая.

Чтобы путевая проза была и путевой и прозой, она обязана быть авторской. Нас волнуют не камни, а люди — и то, что они чувствуют, глядя на камни. Отчет об увиденном — феноменологическое упражнение, описывающее лишь ту реальность, что поселилась в нашем сознании и сменила в нем занавески. Для такой операции нужна не только любовь к знаниям, но и просто любовь. Она соединяет человека с окружающим в акте интеллектуального соития, за которым тоже интересно подглядывать. Любовь служит марлей, отцеживающей в текст лишь те детали, что внушают ностальгию еще до того, как мы покинули пейзаж, почти заменивший родину.

Поэтому путевое нужно читать не до, не во время, а после путешествия, чтобы убедиться в том, что оно состоялось. Чужие слова помогают кристаллизировать свои впечатления, сделав их опытом, меняющим состав души. Иначе лучше ездить на дачу.

Европейская тетрадь

Славянские древности

Все началось с карпатских орлов. В Югославии шла война, и почта не работала. Бензина тоже не было. Автобусы не ходили, и связь поддерживали почтовые голуби. Но только до тех пор, пока их вместе с письмами не съедали голодные орлы, налетавшие из недалекой Румынии. Чтобы отогнать хищников, моя сербская переводчица была по дну кастрюли поварешкой. Орлы, делая вид, что пугаются, прятались в роще грецких орехов, откуда зорко следили за своим обедом — очередным почтовым отправлением. Оставалась только компьютерная связь, на которую уходил тот час в сутки, когда давали электричество.

Вокруг между тем, как уже было сказано, шла война. На нашем конце о ней писали странные вещи.

“Устав от несправедливости, — рассказывал один репортаж, — белградские писатели предложили соорудить в столице громадный стеклянный куб и наполнить его костями всех сербов, погибших на полях сражения за всю свою кровавую историю”.

Другие, как вроде бы сообщило югославское телевидение, требовали призвать в армию неумирающих вурдалаков. План предусматривал раздачу чеснока остальным солдатам, чтобы живые мертвецы по его запаху могли отличить своих от чужих, из НАТО.

Я не придумал эти своеобразные проекты, хотя и не смог найти им подтверждения. Мне хватало того, что такое могло быть сказано.

И все же в этой непростой стране выходили мои книги, совпадая, что на Балканах несложно, с социальными катаклизмами. Одна, например, появилась в разгар революции. По несчастному совпадению типография делила площадь с археологическим музеем. В него бунтовщики ворвались по пути к президентскому дворцу. В суматохе пропало золотое убранство кельтов. Прикрывая ко-

рысть свободолюбием, толпа разорила заодно и типографию. С криком “Долой пропаганду Милошевича!” революция растоптала мою уже сброшюрованную книгу. Называлась она “Темнота и тишина”.

В Белградском аэропорту память о недавних событиях охраняли автоматчики, одетые по манхэттенской моде — во все черное. Понятным в их речи был только мат. У выхода из зала висела табличка “Молимо, затворяйте ворота”. Славянское родство обрушилось на меня, как встреча с забытым братом. Я понимал значение слов и даже выполнил то, к чему они призывали, но легкий семантический сдвиг уже выпихнул меня в параллельную вселенную, где все казалось слишком знакомым, чтобы быть настоящим.

Вот так, борясь с кошмаром, ты догадываешься по мелкому вранью деталей, что он тебе приснился. Меня давно уже не влечет насилие над реальностью. Грубый вымысел сам облачает себя, не оставляя привкуса загадки. Действительность брезгливо стряхивает его, без ущерба для своей репутации. Куда труднее ей справиться с подножкой разума. Много раз

я замечал за жизнью эти неприметные странности. Иногда они проявляют себя нудным воспоминанием, повторяющим бессмысленный, никуда не ведущий эпизод. Иногда — это незнакомое лицо, с непонятной целью копирующее знакомое. Иногда — облепившая язык фраза или привязавшийся мотив. Но чаще — нелепое мгновение, когда ты вдруг с обморочной ясностью видишь со стороны и себя, и свои занятия, и наигранность энтузиазма, с которым ты им предаешься. Тряся головой, как спрыгнувший с балкона кот, ты восстанавливаешь привычное равновесие, но испытанный морок уже не оставляет в покое, вынуждая подозревать реальность в измене.

Этот вывих сознания я переживаю каждый раз, когда оказываюсь в местах, настолько насыщенных историей, что под ее тяжестью действительность течет, словно металл под давлением. Белград к тому же выглядел, как Москва в конце перестройки. Из магазинов чаще всего встречались книжные, которых здесь зовут чудным словом “Книжара”. Еще не успев разочароваться в чтении, сербы интересовались писателями и расспрашивали их. Мне досталась юная красавица, которая сочетала обычную

здесь неприязнь к Америке с прекрасным английским.

— Что значит для вас история? — начала она интервью.

— *Science Fiction*, — выпалил я, не успев задуматься.

На этом разговор надолго прервался. В этих краях история продолжалась, в моих, как тогда стало модно считать, она уже свершилась.

По-русски лучше всех моих знакомых славистов говорит профессор с хрестоматийным именем Джон Браун.

— Как вас угораздило выбрать такую профессию? — спросил я его, как всех, кто нами интересуется.

— Родительскую библиотеку, — издаലെка начал он, — составляла книга “Сокровища мировой литературы” в одном нетолстом томе. Отец выиграл его в лотерее на балу пожарных. У нас, в Иллинойсе, тогда было два развлечения: осенью — охота, весной — смотреть на новые марки машин в автосалоне. У русских хотя бы была история...

— ...которая убила моих дедов: одного — Сталин, другого — Гитлер, — сказал я с типичным

высокомерием жертвы, которое свойственно нашим соотечественникам, когда речь заходит об исторических катаклизмах.

— Вот видите! — не понял меня профессор. — А мои деды умерли сами, потому что были никому не нужны.

Тоска по истории — редкая болезнь. В Америке она встречается не чаще славистов. Бодрийяр даже уверял, что настоящая история, как настоящие вина, не переносит перевозки через океан. Это, однако, зависит от маршрута, ибо история все-таки добирается до Америки, но — Латинской. Другое дело, что мы ее мало знаем. Только от перуанского экскурсовода, добродушной тетки с хозяйственной сумкой, я узнал, что ее родина вела пять пограничных войн с соседним Эквадором.

— Кто победил? — зачем-то спросил я.

— Четыре: один, — сказала она неуверенно, — или три: два, но точно в нашу пользу.

Неудивительно, что магический реализм родился в Южной и не прижился в Северной Америке. Октавио Пас говорил, что Мексику от ее северного соседа больше всего отличают вкусы. “Американцы, — писал поэт, — любят криминальные истории, мы — волшебные сказки”.

Водораздел образует фантазия. Мифы ведь не бывают произвольными, их нельзя придумать, они вырастают сами из унавоженной историческим вымыслом почвы. И органичность национального воображения — единственный критерий истины.

Психоаналитик так толкует сны. Он, чего не знают непосвященные, не может наврать, ибо о правоте трактовки способен судить только сам пациент. Прозрачным сон становится лишь тогда, когда мы (всегда с чужой помощью) проникаем в смысл диалога, который подсознание ведет с сознанием на правдивом языке образов: духовная жизнь не знает лжи.

Это не значит, что сны (как и национальные мифы) не врут, еще как! Но узнаем мы об этом, лишь проснувшись, ибо, погрузившись в сновидение, мы топим в нем свой сомневающийся картезианский разум и принимаем за чистую монету все, что показывают.

Таким образом, мы, конечно, узнаем больше о себе, чем об окружающем, но это — универсальное метафизическое препятствие. Его не обойти, меняя жанр описания. Как сказал один историк, “наша профессия подобна фо-

тографии: она всегда обманывает”. Хотя бы потому, что у снимка есть рама.

И все же я люблю историю. Она всегда разная. Одну историю можно рассказывать, как Николай Карамзин, другую — живописать, как Василий Суриков, третью изобразить, как Алексей Герман. Мою историю можно увидеть, как сон — сквозь смех, слезы или вожделение.

Явь без сна порождает неполную, как у андроида, жизнь, лишенную потусторонней глубины. География без истории вырождается в туризм: перемещение без перевоплощения, движение без трансформации.

Нет кроны без корней. Для них нужна почва. А всякое почвенничество — исторический сон о родине. Обычно — страшный. Именно поэтому я предпочитаю смотреть чужие сны. Зная о последствиях, я категорически не доверяю той почве, с которой связан кровью, языком, даже — алфавитом.

Амбивалентность моего статуса в Белграде объясняло то обстоятельство, что я оказался в интересном положении — выходцем сразу из двух стран, отношение к которым было диаметрально противоположно. Что и понятно:

на площади еще дымились руины уродливого Генерального штаба, так аккуратно расколотого американскими бомбами, что в польских особняках по соседству не вылетели стекла. Делая вид, что не замечаем разрушений, оплаченных и моими налоговыми долларами, мы дружески беседовали с хозяевами — по-английски, но о России. Вынужденный принять двусмысленность ситуации, я чувствовал себя как знакомый двуглавый орел, наследниками которого мы все тут считались.

Первым мне об этом напомнил Милорад Павич.

— В газетах пишут, — сказал я ему, набравшись наглости, — что вы — последний коммунист.

— Нет, я — последний византиец, — непонятно объяснил Павич и повел на спектакль, поставленный по его роману “Хазарский словарь”.

Театр в разоренной войной и тираном столице покорял щедрой роскошью. Он являл собой многоэтажную жестяную воронку, выстроенную специально для постановки. Из подвешенного к небу прохуdivшегося мешка на голую арену сыпались песчинки, бесчисленные, как время. Борясь с ним, спектакль

растил миф об умирающем народе. Принимаюсь на неплодородной песчаной почве, миф, ветвясь, как проза Павича, оплетал консервную банку театра и убеждал его зрителей в оправданности всех жертв.

Радуясь тому, что не понимал ни слова, я следил за игрой мускулистых мужчин, разделенных женщин и лоснящихся лошадей. В толпу на сцене затесался даже американец. Играл он, естественно, дьявола. Мы познакомились чуть позже, на приеме, где он заворачивал в салфетки крохотные дипломатические бутерброды для изголодавшейся в гастролях труппы.

— Дикий Восток, — с восторгом сказал актер, согласившись признать меня, как все тут, за соотечественника. — На английском я говорю только на сцене, где все равно не понимают, а на здешнем выучил одно слово: “Живеле!”

— На здоровье! — охотно откликнулся я, и мы опрокинули, умело затаив дыхание, по рюмке 60-градусной ракии. Уже набравшись опыта, я знал, что она, как кухонный газ, горит синим пламенем и так же опасна при приеме внутрь. Как всех американских экспатов, этого янки принес в Старый Свет исторический вихрь, от которого сбежали его предки. Но бывает, что и наши бегут за историей.

— Из вернувшихся, — сказал мне один русский, но бывший израильский писатель, — уже можно собрать целый город.

— Вот и хорошо, — обрадовался я.

— И назвать его, — задумчиво добавил он, — Мудоград.



Зврк

Отель стоял в прозрачной березовой роще. Южная весна походила на северную, и ветерок играл почти пустыми ветками. В березках мочился юноша в трениках.

— Лель, — решил я, входя в двухэтажный вестибюль.

Писатели делили гостиницу с хоккеистами, собравшимися в Новый Сад на чемпионат мира.

— *Tere-tere*, — закричал я парням в синих майках с надписью “*EESTI*”.

— Гляди, Лёха, — сказал хоккеист такому же белобрысому приятелю, — эстонец.

Другой изюминкой отеля был ресторан “Тито” с поясным портретом вождя, выпол-

ненным в дерзкой манере соцреалистического сезаннизма. Среди мемориальных вещей я заметил окурок толстой сигары. Однажды Тито встречал тут Новый год. На память о торжестве остался аутентичный сервиз.

— Возможно, этой ложкой, — сказал пожилой официант, принеся суп, — ел Тито.

— Возможно, этой вилкой, — продолжил он за вторым, — ел Тито.

— Возможно, этим ножом...

Я вздрогнул, потому что в моем детстве Тито обычно называли “кровой собакой”, и прервал старика вопросом:

— А кто Тито был по национальности?

— Маршалом, — отрезал официант, и я остался без кофе.

— Даже с ним здесь непросто.

— Знаете, — спросили тем же вечером писатели, — как по-нашему будет кофе?

— Кофе? — рискнул я.

— Кафа.

— А по-хорватски — кава, — добавил один писатель.

— По-боснийски — кахва, — заметил другой.

— По-македонски — кафе, — вставил третий.

— По-черногорски — эспрессо, — заключил Горан Петрович.

Над Черногорией здесь принято посмеиваться, потому что она поторопилась найти себе отдельное место под солнцем, да еще у моря. Поводом к отделению послужили три уникальные буквы, на которые черногорский язык богаче сербского. Проблема в том, что букв этих никто не знал, и русские, открывшие и купившую эту чудную страну, привезли их с собой.

Включив в номере телевизор, я услышал голос диктора: “Наличие кэша, без наличия кэша, наличие без кэша”.

— Сербский, — решил было я, но потом заметил в углу буквы “РТВ”.

Русскому, впрочем, говорить по-сербски просто, но долго. Если перечислить все синонимы, то рано или поздно один из них окажется сербским словом.

Утром я нашел среди мраморных колонн газетный киоск и спросил у приветливой продавщицы:

— У вас есть пресса на английском?

— Конечно, — удивилась она, — скоро завезут.

— К вечеру?

— К лету.

Оставшись без иностранных новостей, я ограничился местными. В этих краях только римских императоров родилось шестнадцать душ.

Обычно, попав в незнакомый город, я описываю архитектурные достопримечательности, делая это по той же причине, по которой Швейк советовал фотографировать мосты и вокзалы — они не двигаются. С людьми сложнее, если они не славяне. С ними мы быстро находим общий язык, потому что он действительно общий.

— Чего у нас больше всего? — спросила меня дама с радио.

— Того же, — честно ответил я, — что и у нас: эмоций.

— Это комплимент?

— Скорее — судьба.

Между тем литературный фестиваль вошел в силу, и меня представили переводчице.

— Мелина, — сказала она.

— Меркури? — вылетело из меня, но я оказался прав, потому что отец назвал дочку греческим именем из любви к актрисе безмерной красоты и радикальных убеждений.

Мы подружились по-славянски стремительно. Душа Мелины не помещалась в ху-

дом теле и была вся нараспашку. Тем более что она пригласила в гости, а чужое жилье, как подробно демонстрировал Хичкок, — собрание бесспорных улик, и я не стеснялся оглядываться. На балконе стояли пара лыж и два велосипеда. В передней висела гитара, на плите — чайник на одну чашку. Книг было умеренно, компьютер — переносной. Остальное место занимала раскрашенная по-детски яркими красками карта мира. Туда явно хотелось.

Литературный фестиваль открылся в старинном особняке. Раньше здесь располагался югославский КГБ. За стеной по-прежнему дико кричали, но из динамиков и под гитару.

Когда дело дошло до официальных речей, выяснилось, что Мелина переводила хорошо, но редко.

— Этого, — говорила она, — тебе знать незачем.

— А этого, — послушав еще немного, добавила она, — тем более.

Меня подвели к высокому и спортивному мэру.

— Мне нравится, — льстиво начал я, — ваш город...

— Мне тоже, — свысока ответил он.

Но тут нас, к счастью, прервала музыка. Ударил арфа: Гайдн, Эллингтон, что-то батальное. Одета лилией девушка не жалела струн, но скоро одну музу сменила другая. Начались чтения. Сперва в переводе на сербский звучала венгерская проза, потом — словенская, затем — македонская. За столом, впрочем, выяснилось, что все авторы учились на одном курсе, играли в одной рок-группе и вместе издавали стенгазету “Знак” — про Лотмана. Поэтому мне удалось без труда вклиниться в беседу.

— Живеле! — закричал я, и все подняли “фракличичи”, филигранные рюмки-бутылки с ракией. Как русскому, мне ее наливали в стакан.

Чокнувшись с соседом, я обнаружил в нем тезку. Чтобы не путаться, мы решили звать его Александром Македонским. Он не спорил и рисовал на салфетке карту родовых владений нашего эпонима, которые упорно не попадали в Грецию. Моего собеседника это радовало, греков бесило, из-за чего Македонию не брали в Европу.

— Реакционеры, — кричал он, — они не знают новой географии. С падением Берлинской стены исчез целый край света. Западная Европа теперь кончается Белоруссией, с которой начинается Западная Азия.

— А сейчас мы — где? — не сдержал я любопытства.

— Западные Балканы, — решительно вмешался другой писатель.

— Восточное Средиземноморье, — поправил его третий.

— Один хрен, — резюмировал четвертый, который лучше всех говорил по-русски.

Обшитая дубом гимназия, самая старая в Сербии, больше походила на Оксфорд, чем на среднюю школу. В такой мог учиться Булгаков и учить “человек в футляре”. На стене актового зала висел Карагеоргиевич в алых галифе. За спиной с темного портрета на меня глядел первый попечитель — Сава Вукович в меховом жупане. Гимназии было триста лет, ее зданию — двести, ученикам — восемнадцать.

— Какова цель вашего творчества? — спросили они.

Первые десять минут коллега слева, усатый автор сенсационного романа “Лесбиянка, погруженная в Пруста”, отвечал на вопрос сидя. Следующие пятнадцать — стоя. Наконец он сел, но за рояль, и утомился только тогда, когда у него отобрали микрофон, чтобы сунуть его мне.

— Нет у меня цели, — горько признался я, — а у творчества и подавно.

Молодежь разразилась овациями — им надоело сидеть взаперти. Выбравшись во двор, мы разболтались с гимназистками. Они учили русский, чтобы заработать денег, и английский — чтобы выйти замуж.

— За кого?

— За русских, — непонятно ответили они.

Но тут я вспомнил, что в России молодежь тоже учит английский, и решил, что они объяснятся.

— Что самое трудное в русском языке? — сменял я тему.

— Мягкий знак.

— И, несмотря на него, вы взялись за наш язык. Почему?

— Толстой, Достоевский, Пушкин.

— “Газпром”, — перевела Мелина.

Обедать нас привезли в дунайский ресторан “Салаш”.

— “Шалаш”, — перевела Мелина, — как у Ленина.

Кормили, однако, лучше и можно было покататься — на лодке или верхом.

— Правда ли, что сербы не любят рыбу, — спросил я у автора романов в стиле магиче-

ского реализма, — потому что в Дунае живут злые духи вилы?

— Нет, — сказал Горан, — неправда, просто смудж на базаре — десять евро с костями.

Смудж на поверку оказался судаком, к тому же очень вкусным. Мы ели его на берегу разлившейся реки. Под столом прыгали лягушки. Вдалеке на мелкой волне качался сторожевой катер дунайского военного флота. Рядом мирно стоял теплоход “Измаил” под жовтно-блакитным флагом. Мимо плыла подозрительная коряга.

— Из Венгрии, — присмотревшись, заметил Горан.

Между переменами я выскочил из-за стола, чтобы погладить лошадь.

— Зврк, — заметил на мой счет писатель слева.

— Зврк, — согласился с ним писатель справа.

— Зврк, — закивали остальные, включая лошадь.

— Что такое “зврк”? — не выдержал я.

— Юла, непоседа.

Спорить не приходилось, потому что я всегда первым и влезая и вылезая из автобуса, не переставая задавать вопросы. Меня, впрочем, тоже спрашивали, но только журналисты, которым поручили заполнить страницу между

политикой и спортом. Каждый из них начинал с того, что обещал задать вопрос, который до сих пор никому не приходил в голову. Звучал он всегда одинаково:

— Почему вы уехали в Америку? За свободой?

— Угу, — отвечал я.

Мелина переводила дословно, но репортер все равно вдохновенно строчил, надолго оставив меня в покое.

На прощание Мелина привела меня в самую старую часть города.

— Моя любимая улица, — сказала она, заводя в заросший травой тупичок.

У тропинки стоял беленый домик. В таком мог бы жить гном. В сумерках шмыгали мелкие кошки, сбежавшие из турецкой сказки. За забором уже цвела толстая сирень.

— По-нашему — йергован, — объяснила Мелина.

— Похоже, — согласился я от благодущия.

В этих краях оно меня редко покидает: не Восток, но и не Запад же, не дома, но и не среди чужих. Такое бывает со слишком прозрачным стеклом: кажется, что его нету, а оно есть, как

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

Космополит

выяснил один мой знакомый, пройдя из гостиной в сад через стеклянную дверь. К столу его вывели ни голым, ни одетым — в бинтах.

Романом с Сербией судьба что-то говорит мне, но я никак не различу что. Поэтому в балканских поездках мне мнится какая-то потусторонняя подсказка. Может, опечатка в адресе?

В самолете я пристегнул ремни — “ради безбедности лета”, как уверяла меня последняя табличка на сербском, и уставился в иллюминатор. Страны мелькали по-европейски быстро. Вскоре под крылом доверчиво расстелилась плоская Голландия — с воскресным футболом и бесконечными грядками тюльпанов. Они были разноцветными, как полосы на незнакомом флаге еще не существующей державы.